

МАРИНА  
ЦВЕТАЕВА

*Пленный дух*

А. ДРУГА-ИСТАССИА



**Марина Ивановна Цветаева**  
**Герой труда**  
Серия «Мемуарная проза»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=175898](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175898)  
Марина Цветаева. Пленный дух: Азбука; Москва; 2004  
ISBN 5-352-00716-2*

**Аннотация**

Проза поэта о поэтах... Двойная субъективность, дающая тем не менее максимальное приближение к истинному положению вещей. Валерий Брюсов – глазами Марины Цветаевой.

# Содержание

Часть первая	4
I. <Поэт>	4
II. Первая встреча	22
III. Письмо	24
IV. Два стишка	28
V. “Семья поэтов”	33
VI. Премированный щенок	35
Часть вторая	40
I. Лито	40
II. Вечер в консерватории	44
III. Вечер поэтесс	51
IV. Брюсов и Бальмонт	81
V. Последние слова	95

# Марина Цветаева

## Герой труда

### (Записи о Валерии Брюсове)

## Часть первая

### Поэт

*“И с тайным восторгом гляжу  
я в лицо врагу”.*

*Бальмонт*

## I. <Поэт>

Стихи Брюсова я любила с 16 л<ет> по 17 л<ет> – страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до тла лишен – песню, песенное начало. Больше же стихов его – и эта любовь живет и поныне – его “Огненного Ангела”, тогда – и в замысле и в исполнении, нынче только в замысле и в воспоминании, “Огненного Ангела” – в неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16-ти лет, меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово “интересный”, рыноч-

ное и расценочное, невысказанное ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер – и такой промах! Да, ибо мастерство – не всё. Нужен слух. Его не было у Брюсова.

Антимузикальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений – антимузикальность сущности, суть, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17-летней: “В вас больше реки, чем берегов, в нем – берегов, чем реки”. Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит – вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. Загородом набережная теряет власть. Так, не предотвратил ни окраинного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей последней и жесточайшей ревности – небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания.

Вслушиваясь в неумолчное слово Гёте: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”<sup>1</sup> – слово, направленное на преодоление в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как колыбель, преодоленной быть долженствующей), нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Без-

---

<sup>1</sup> Мастер сказывается прежде всего в ограничении (нем.).

граничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано. Брюсов был бы мастером в гётевском смысле слова только, если бы преодолел в себе природную *границу*, раздвинул, а может быть, и – разбил себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался invulnerable<sup>2</sup> (во всем объеме непереводаемо), вне лирического потока. Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон.

\* \* \*

(Гётевское слово – охрана от *демонов*: может быть, самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.)

\* \* \*

Брюсов был римлянином. Только в таком подходе – разгадка и справедливость. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, – вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омраченного неминуемой гибелью Ахилла – Зевеса. Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс.

---

<sup>2</sup> Непроницаем (фр.).

Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного лягания Брюсова. Брюсов не был *quantite negligeable*<sup>3</sup>, еще меньше *gualite*<sup>4</sup>. По рождению русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это – в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли?) наглухо, бронирован без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский – достоверно, поэт – достоверно тоже: в пределах воли человеческой – поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но – слепые какие-то, с полной немыслимостью в них жизни. Казенные (и, уже лирически), казенные. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого – тупик.

Брюсов: поэт входов без выходов.

Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? (Гётевское: “*Verweile doch! du bist so schon!*”<sup>5</sup>) Было ли у тебя хоть

---

<sup>3</sup> Незначительная величина (фр.).

<sup>4</sup> Качество (фр.).

<sup>5</sup> Остановись! Ты так прекрасно! (нем.).

раз чувство оборванности (вел и бросил!), разверзлась ли хоть раз на неучтимость сердечного обмирания за строками – страна, куда стихи только ход: в самой дальней дали – на самую дальнюю даль – распахнутые врата. Душу, как Музыка, срывал тебе Брюсов? (“Всё? Уже?”) Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову: “Уже? Еще!” Выходил ли ты хоть раз из этой встречи – неудовлетворенным?

Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает всё и ровно то, что обещал, из его книги выходишь, как из выгодной сделки (показательно: с другими поэтами – книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: ты ушел, книга – осталась) – и, если чего-нибудь не хватает, то именно – неудовлетворенности.

\* \* \*

Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное “конец”. Брюсов, для цельности, должен был бы представлять его и графически (типографически).

\* \* \*

Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд – лестно, на второй – грустно. Творец, это все завтрашние творения, всё Будущее, вся неизбежность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое – неучтимо – в неучти-



мости своей непобедимое: завтрашний день.

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тогда – конец – Вам.

И – странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем меньше оно по сравнению с творцом (Гёте). Откуда мы знаем Гёте? По Фаусту. Кто же нам сказал, что Гёте – больше Фауста? Сам Фауст – совершенством своим.

Возьмем подобие:

– “Как велик Бог, создавший такое солнце!” И, забывая о солнце, ребенок думает о Боге. Творение, совершенством своим, отводит нас к творцу. Что же солнце, как не повод к Богу? Что же Фауст, как не повод к Гёте? Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство не есть завершенность, совершается здесь, вершится – Там. Где Гёте ставит точку – там только и начинается! Первая примета совершенности творения (абсолюта) – возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше – чего? – предшествующего “выше”, а это уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака – и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила совершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно большее Гёте, как Гёте – Фауста, вот что делает и Гёте и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность воспри-

ятия нами высоты – непрерывное перемещение по вертикали точек измерения ее. Единственная возможность на земле величия – дать чувство высоты над собственной головой.

– “Но Гёте умер, Фауст остался”! А нет ли у тебя, читатель, чувства, что где-то – в герцогстве несравненно просторнейшем Веймарского – совершается – третья часть?

\* \* \*

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! обещание, на котором вся поэзия – и нечто высшее поэзии – держится: чуда над тобой и, посему, твоего над другими – этого обещания нет ни в одной строке Брюсова:

*Быть может, всё в жизни лишь средство  
Для ярких певучих стихов,  
И ты с беспечального детства  
Ищи сочетания слов.*

Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!

Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя “брюсовским Институтом Поэзии”.

\* \* \*

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел – и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова: все, что я смог. И большее, вообще, невозможно.

Как малого же он хотел, если столько смог!

Знать свои возможности – знать свои невозможности. (Возможность без невозможностей – всемогущество.) Пушкин не знал своих возможностей, Брюсов – свои невозможности – знал. Пушкин писал на авось (при наичернейших черновиках – элемент чуда), Брюсов – наверняка (статут, Институт).

\* \* \*

Волей чуда – весь Пушкин. Чудо воли – весь Брюсов.

Меньшего не могу (Пушкин. Всемогущество).

Большого не могу (Брюсов. Возможности).

Раз сегодня не смог, завтра смогу (Пушкин. Чудо).

Раз сегодня не смог, никогда не смогу (Брюсов. Воля).

Но сегодня он – всегда мог.

\* \* \*

Дописанные Брюсовым “Египетские ночи”. С годными или негодными средствами покушение – что его вызвало? Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, всей природой своей, тайне, он не чтит и не чует ее в неоконченности творения. Не довелось Пушкину – доведу (до конца) я.

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать.

\* \* \*

Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию – покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные – рождение), он им стал. Преодоление невозможного. Kraftspröbe<sup>6</sup>. А избрание самого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии?) – не что иное, как единственный выход силы: самоборство.

И, уточняя: Брюсов не с рифмой сражался, а со своей нерасположенностью к ней. Поэзия, как поприще для самоборения.

---

<sup>6</sup> Проба сил (нем.).



Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, – человек, волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто.

*Вперед, мечта, мой верный вол!*

О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив – до дна, то именно в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол – что это, труд поэта? нет, мечта его! Вдохновение + воловий труд, вот поэт, воловий труд + воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия.

У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты – волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Соллогуба – говорю лишь о поэтах его поколения (почему выпадает Белый?) – кто бы, в какой час последнего изнеможения, произнес это “мечта – вол”. Если бы вместо мечты – воля, стих был бы формулой.

Поэт воли. Действие воли, пусть кратко, в данный час беспредельно. Воля от мира сего, вся здесь, вся сейчас. Кто так властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Бальмонт? К нему влеклись. Блок? Им болели. Вячеслав? Ему внимали. Сологуб? О нем гадали. И всех – заслушивались. Брюсова же – Слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях на пирах молодой поэзии – Жуана. Вино оледеневало в стаканах. Под дланью Брюсова гнулись, не любя, и иго его было тяжко. “Маг”, “Чародей”, – ни о зачаровывающем Бальмонте, ни о магическом Блоке, ни о рожденном чернокнижнике – Вячеславе, ни о ненашем Сологубе, – только о Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская и нерусские: воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чудесная в тридевятом царстве, где, как во сне, всё возможно. Всё, кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое царство Души – Россия – польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась<sup>7</sup>. На римскую волю московского купеческого сына откуда-то с Трубной площади.

– Сказка?

---

<sup>7</sup> Поколение поэтов ведь та же Россия, и не худшая... (примеч. М. Цветаевой).

Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но, зная, что поэты их видят, заменял невиденные – выдуманными.

Не отсюда ли – от невозможности просто увидеть сон – грустная страсть к наркотикам?

Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник 18-го века.) Может быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове не читала, – не из страха совпадения, из страха, в случае перехулы, собственного перехвала.) Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. (*Просвещенность*, превращающаяся на Руси в *чернокнижие*.)

Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества? Творима всеми поэтами.

*...Und sind ihr ganzes Leben so allein...<sup>8</sup>*

(Рильке о поэтах)

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жизни – памятником. Трагедия гордеца с тем грустным

---

<sup>8</sup> ...И всю свою жизнь они так одиноки... (нем.).

удовлетворением, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся: не до-любить, не передать, не снизить.

*Хотел бы я не быть Валерий Брюсов —*

только доказательство, что всю жизнь свою он ничего ино-го не хотел. И вот, в 1922 г. пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничевоков, нукудыков, наплеваков. Лучшие – отпали, отвратились. Подонки, к которым он тщетно кло-нился, непогрешимым инстинктом низости чуя – величие, оплевывали (“не наш! хорош!”). Брюсов был один. Не один *над* (мечта честолюбца), один – *вне*.

“Хочу писать по-новому, – не могу!” Это признание я соб-ственными ушами слышала в Москве, в 1920 г. с эстрады Большого зала Консерватории. (Об этом вечере – после.) *Не могу!* Брюсов, весь смысл которого был в “могу”, Брюсов, который, наконец, не смог!

\* \* \*

В этом возгласе был – волк. Не человек, а волк. Человек – Брюсов всегда на меня производил впечатление волка. Так долго – безнаказанного! С 1918 г. по 1922 г. затравленного. Кем? Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему (умер месяц спустя) Блоку: “Да разве вы не видите,



что вы мертвы? Вы мертвец! Вы смердите! В могилу!” Поэтической нечистью: кокаинистами, спекулянтами скандала и сахара, с которой он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался. Которой, подобострастно и жалобно, подавал – в передней своей квартиры – пальто.

\* \* \*

Оттолкнуть друзей, соратников, *современников* Брюсов – смог. Час не был их. Дела привязанностей – через них он переступил. Но без этих, именующих себя “новой поэзией”, он обойтись не смог: *их* был – час!

\* \* \*

Страсть к славе. И это – Рим. Кто из уже названных – Бальмонт, Блок, Вячеслав, Сологуб – хотел славы? Бальмонт? Слишком влюблен в себя и мир. Блок? Эта сплошная совесть? Вячеслав? На тысячелетия перерос. Сологуб?

*Не сяду в сани при луне, —  
И никуда я не поеду!*

Сологуб с его великолепным презрением?

Русский стремление к прижизненной славе считает либо презренным, либо смешным. Славолюбие: себялюбие. Сла-

ву русский поэт искони предоставляет военным и этой славе преклоняется. – А “Памятник” Пушкина?<sup>9</sup> Прозрение – ничего другого. О славе же прижизненной:

*Хвалу и клевету приемли равнодушно  
И не оспаривай глупца, —*

важнейшую: количественную базу – славы. Не удержусь, чтобы не привести вопль лучшего русского поэта современности:

“О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать!”

Вопль каждого поэта, особенно – русского, чем больше – тем громче. Только Брюсов один восхотел славы. Шепота за спиной:

“Брюсов!”, опущенных или вперенных глаз: “Брюсов!”, похолодания руки в руке: “Брюсов!” Этот каменный гость был – славолубцем. Не наше величие, для нас – смешное величие, скажи я это по-русски, звучало бы переводом *une petitesse qui ne manque pas de grandeur*<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Есть и у Брюсова “Памятник”. Кто читал – помнит (примеч. М. Цветаевой)

<sup>10</sup> Малость, не лишенная величия (фр.).

\* \* \*

“Первым был Брюсов, Анненский не был первым” (слова того же поэта). Да, несравненный поэт, вы правы: единственный не бывает первым. Первый, это ведь *степень*, последняя ступень лестницы, первая ступень которой – последний. Первый – условность, зависимость, в линии. Единственный – вне. У неповторимого нет второго.

Два рода поэзии.

Общее дело, творимое порознь:

(*Творчество уединенных. Анненский.*)

Частное дело, творимое совместно.

(*Кружковщина. Брюсовский Институт.*)

\* \* \*

Одного порока у Брюсова не было: мелкости их. Все его пороки, с той же мелкости начиная, en grand<sup>11</sup>. В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями.

\* \* \*

Слава? Любовь к тебе – миллиардов. Власть? Перед тобой

---

<sup>11</sup> Масштабны (фр.).

– биллионов – страх.

Брюсов не славу любил, а власть.

У каждого – свой глагол, дающий его деяния. Брюсовский – домогаться.

\* \* \*

Есть некая низость в том, чтобы раскрывать карты поэта так, перед всеми. Кружковщины нет (презренна!), круговая порука – есть. Судить о художнике могут – так, по крайней мере, принято думать и делать – все. Судить художника – утверждаю – только художники. Художник должен быть судим судом либо товарищеским, либо верховным, – собратьями по ремеслу, или Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить мир тот – в мирах сил. Обыватель поэту, каков бы он в жизни ни был, – не судья. Его грехи – не твои. И его пороки уже предпочтены твоим добродетелям.

Avoir les rieurs de son cote<sup>12</sup> – вещь слишком легкая, эффект слишком грошовый. Я, de mon cote<sup>13</sup>, хочу иметь не les neurs<sup>14</sup>, а les penseurs<sup>15</sup>. И единственная цель этих записей – заставить *друзей* задуматься.

---

<sup>12</sup> Поставить противника в смешное положение (фр.).

<sup>13</sup> Со своей стороны (фр.).

<sup>14</sup> Насмешники (фр.).

<sup>15</sup> Мыслители (фр.)

\* \* \*

Цель прихода В. Я. Брюсова на землю – доказать людям, что может и чего не может, а главное все-таки что может – воля.

\* \* \*

Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое – смысловое: и воля – Рим, и вол – Рим, и волк – Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и волком – в поэзии, волком (*homo homini lupus est*<sup>16</sup>) в жизни. И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест в Риме – хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его – не встанет – в чем, если не в мраморе? – изваяние:

СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ  
РИМ

---

<sup>16</sup> Человек человеку – волк (лат.).

## II. Первая встреча

Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было 6 лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зограф-Плаксиной (старинный белый особнячок в Мерзляковском пер<еулке>, на Никитской). В день, о котором я говорю, было мое первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки (первая в сборнике Леберт и Штарк), партнер – Евгения Яковлевна Брюсова, жемчужина школы и моя любовь. Старшая ученица и младшая. Все музыкальные искусства пройденные – и белый лист. После триумфа (забавного свойства) иду к матери. Она в публике, с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, о детях, рассказ дамы о своем сыне Валерии (а у меня сестра была Валерия, поэтому запомнилось), “таком талантливом и увлекающемся”, пишущем стихи и имеющем недоразумения с полицией. (Очевидно, студенческая история 98 – 99 гг.? Был ли в это время Брюсов студентом, и какие это были недоразумения – не знаю, рассказываю, как запомнилось.) Помню, мать соболезновала (стихам? ибо напасть не меньшая, чем недоразумения с полицией). Что-то о горячей молодежи. Мать соболезновала, другая мать жаловалась и хвалила. – “Такой талантливый и увлекающийся”. – “Потому и увлекающийся, что талантливый”. Беседа длилась. (Был антракт.) Обе матери жаловались и хвалили. Я слушала.

Полиция – зачем заниматься политикой – потому и увлекающийся.

Так я впервые встретила с звуком этого имени.

### III. Письмо

Первая заочная встреча – 6-ти лет, первая очная – 16-ти. Я покупала книги у Вольфа, на Кузнецком, – ростановского “Chanteclair'a”<sup>17</sup>, которого не оказалось. Неполученная книга, за которой шел, это в 16 лет то же, что неполученное, до востребования, письмо: ждал – и нету, нес бы – пустота. Стою, уже ища замены, но Ростан – в 16 лет? нет, и сейчас в иные часы жизни – незаменим, стою уже не ища замены, как вдруг, за левым плечом, где ангелу быть полагается, – отрывистый лай, никогда не слышанный, тотчас же узнанный: – “Lettres de Femmes”<sup>18</sup> – Прево. “Fleurs du mal”<sup>19</sup> – Бодлера, и “Chanteclair'a”, пожалуй, хотя я и не поклонник Ростана.

Подымаю глаза, удар в сердце: Брюсов!

Стою, уже найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, за такие минуты – и сейчас – жизнь отдам. И Брюсов, настойчивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова: “Хотя я и не поклонник Ростана”.

Сердце в горле – и дважды. Сам Брюсов! Брюсов Черной мессы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония! – И – не поклонник

---

<sup>17</sup> “Певец зари” (фр.).

<sup>18</sup> “Письма женщины” (фр.).

<sup>19</sup> “Цветы зла” (фр.).



Ростана: Ростана – L'Aiglon<sup>20</sup>, Ростана – Мелизанды, Ростана – Романтизма!

Пока дочувствовывала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно – душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел. Вышла и я – не вслед, а навстречу: домой, писать ему письмо.

\* \* \*

Дорогой Валерий Яковлевич,  
(Восстанавливаю по памяти.)

Сегодня, в Магазине Вольфа, Вы, заказывая приказчику Chanteclair'a, добавили: “хотя я и не поклонник Ростана”. И не раз утверждали, а дважды. Три вопроса:

Как могли Вы, поэт, объявлять о своей нелюбви к другому поэту – приказчику?

Второе: как можете Вы, написавший Ренату, не любить Ростана, написавшего Мелизанду?

Третье: – и как смогли предпочесть Ростану – Марселя Прево?

Не подошла тогда же, в магазине, из страха, что Вы примете это за честолюбивое желание “поговорить с Брюсовым”. На письмо же Вы вольны не ответить.

*Марина Цветаева.*

---

<sup>20</sup> Орленка (фр.).

Адреса – чтобы не облегчать ответа – не приложила. (Я была тогда в VI кл. гимназии, моя первая книга вышла лишь год спустя, Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно и, при желании, ответить мог).

Дня через два, не ошибаюсь – на адрес Румянцевского Музея, директором которого состоял мой отец (жили мы в своем доме, в Трехпрудном) – закрытка. Не открытка – недостаточно внимательно, не письмо – внимательно слишком, *die goldene Mitte*<sup>21</sup>, выход из положения – закрытка. (Брюсовское “не передать”.) Вскрываю:

“Милостивая Государыня, г-жа Цветаева”,

(NB! Я ему – дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня старше лет на двадцать!)

Вступления не помню. Ответа на поэта и приказчика просто не было. Марсель Прево испарился. О Ростане же дословно следующее:

“Ростан прогрессивен в продвижении от XIX в. к XX в. и регрессивен от XX в. к нашим дням” (дело было в 1910 г.). “Ростана же я не полюбил, потому что мне не случилось его полюбить. *Ибо любовь – случайность*” (подчеркнуто).

Еще несколько слов, указывающих на желание не то встретиться, не то дальнейшей переписки, но неявно, иначе бы запомнила. И – подпись.

На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!), не ответила.

---

<sup>21</sup> Золотая середина (нем.).

Ибо любовь – случайность.

\* \* \*

Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами у друзей, в Москве.

Первое письмо осталось последним.

## IV. Два стишка

Первая моя книга “Вечерний альбом” вышла, когда мне было 17 лет, – стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно.

Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, – всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл. По окончании печатания свезла все 500 книжек на склад, в богом забытый магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокоилась. Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы – не сделала бы: напрашиваться на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились – и благожелательные: большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьютты Шагинян (говорю о, для себя, ценных) и, наконец, заметка Брюсова. Вот что мне из нее запало:

“Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко, точно нечаянно заглянул в окно чужой квартиры...” (Я, мысленно:

дома, а не квартиры!)

Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влияний, о редкой для начинающего самобытности тем и явления их – как незапомнившуюся в словах – опускаю. И, в конце: “Не скроем, однако, что бывают чувства более острые и мысли более нужные, чем:

*Нет! ненавистна мне надменность фарисея!*

Но, когда мы узнаём, что автору всего семнадцать лет, у нас опускаются руки”...

Для Брюсова такой подход был необычаен. С отзывом, повторяю, поздравляли. Я же, из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась: “Мысли более нужные и чувства более острые? Погоди же!”

Через год вышла моя вторая книга “Волшебный фонарь” (1912г. затем перерыв по 1922 г., писала, но не печатала) – и в ней стишок —

В. Я. БРЮСОВУ

*Улыбнись в мое “окно”,*

*Иль к шутам меня причисли, —*

*Не изменишь, всё равно!*

*“Острых чувств” и “нужных мыслей”*

*Мне от Бога не дано.*

*Нужно петь, что всё темно,*

*Что над миром сны нависли...*

*– Так теперь заведено. —*

*Этих чувств и этих мыслей*

*Мне от Бога не дано!*

22

Словом, войска перешли границу. Такого-то числа, такого-то года я, никто, открывала военные действия против – Брюсова.

Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него Брюсова.

“Вторая книга г-жи Цветаевой “Волшебный фонарь”, к сожалению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха...” (ряд неприятностей, которых я не помню, и, в конце:) “Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано”.

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как *его* слова, были явлены без кавычек. Я получалась – душой. (Валерий Брюсов “Далекие и близкие”, книга критических статей.)

Рипост был мгновенный. Почти вслед за “Волшебным фонарем” мною был выпущен маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся “Из двух книг”, и в этом сборнике, черным по белому:

В. Я. БРЮСОВУ

*Я забыла, что сердце в Вас – только ночник,*

*Не звезда! Я забыла об этом!*

---

<sup>22</sup> “Волшебный фонарь”, с. 111 (примеч. М. Цветаевой).

*Что поэзия ваша из книг  
И из зависти – критика. Ранний старик,  
Вы опять мне на миг  
Показались великим поэтом.*

\* \* \*

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, а после сна о нем, с Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения – конец его, и я бы на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой читатель (душ).

\* \* \*

Отзыва, на сей раз, в печати не последовало, но “в горах” (его крутой души) “отзыв” длился – всю жизнь.

\* \* \*

Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в молодом опыте вражды значил для меня несравненно больше, чем я – в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов (твердая величина), меня не любящий, я же для него – X, его не любящий и значущий только потому и

тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых, вообще, презирал. Этого у меня к нему не было – презрения, ни тогда, на вершине его славы, ни спустя, под обломками ее. Знаю это по волнению, с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, сообщаемому нам только величием. Дерзала – да, дерзила – да, презирала – нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильнейшего во мне, чувства ранга. Словом, если перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости – раздражение. Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства – собственный максимум его) – в выигрыше была я.



## V. “Семья поэтов”

Той же зимой 1911 г. – 1912 г., между одним моим рифмованным выпадом и другим, меня куда-то пригласили читать – кажется, в “О-во Свободной Эстетики”. (Должны были читать все молодые поэты Москвы.) Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно оглаворя – Брюсов. Вхожу и остаиваюсь, выжидая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тотчас же – Брюсовым.

– А это – поэтесса Марина Цветаева. Но так как “все друзья в семье поэтов”, то можно (поворот ко мне) без рукопожатий.

(Не предвосхищенное ли советское “рукопожатия отменяются”, но у советских – из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего?)

Нацелившись на из всей группы единственного мне знакомого – Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку, затем с ближайшим его соседом: “Цветаева”, затем с соседом соседа, затем с соседом соседа соседа, и так на круговую, пока не перездоровалась со всеми – всеми, кроме Брюсова. Это – человек было около двадцати – все-таки заняло известное время, тем более что я, природно-быстрая, превратила форму в чувство, обычай – в обряд. В комнате “царило мол-

чание”. Я представлялась: “Цветаева”. Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке, невинно, чуть не по-институтски. И, одновременно, отрывистый, всей пастью, лай Брюсова:

– А теперь, господа, можно и начинать?

\* \* \*

Чего хотел Брюсов своей “семьей поэтов”? Настолько-де друзья, что и здороваться не стоит? Избавить меня от двадцати чужих рук в одной моей? Себя – от пяти минут бездействия? Щадил ли предполагаемую застенчивость начинающего?

Может быть, одно из перечисленных, может быть, всё вместе, а вернее всего подсознательное нежелание близкого, человеческого (и, посему, обязывающего), через ладонь, знакомства. Отскок волка при виде чужой породы. Чутье на чужость. Инстинкт.

Так это и пошло с тех пор, обмен кивками. С каждым разом становилось все позднее и позднее для руки. Согласитесь, что проздоровавшись десять лет подряд всухую, неловко как-то, неприлично как-то, вдруг ни с того ни с сего – за руку.

Так я и не узнала, какая у Брюсова ладонь.

## VI. Премированный щенок

*“Il faut a chacun donner son joujou”.*

*E. Rostand*<sup>23</sup>

Был сочельник 1911 г. – московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина:

*Но Эдмонда не покинет  
Дженни даже в небесах.*

– Вот бы Вам взять приз – забавно! Представляю себе умиление Брюсова! Допустим, что Брюсов – Сальери, знаете, кто его Моцарт?

– Бальмонт?

– Пушкин!

Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня (предельный срок был Сочельник) – идея была соблазнительной! Но – стих на тему!<sup>24</sup> Стих – по заказу! Стих – по мановению Брюсова! И второй

---

<sup>23</sup> “Каждому нужно дать его игрушку”. Э. Ростан (фр.).

<sup>24</sup> Теперь думаю иначе (примеч. М. Цветаевой).

камень преткновения, острейший, – я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж: кого-чего? – то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет, если же именительный падеж: кто-что? – то Эдмонда – женщина и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на “Пире во время чумы” и удостоверил мужественность *Эдмонда*. Но время было упущено: над Москвой, в звездах и хлопьях, оползал Сочельник.

К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором еще конверт, в котором еще конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором (со стихами) девиз (конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждению приза), на третьем – тот же девиз; с пометкой: имя и адрес. Нечто вроде моря-окияна, острова Буяна и Кашеевой смерти в яйце. “Письмецо” я Брюсову послала на дом, на Цветной бульвар, в виде подарка на елку.

Каков же был девиз? Из Ростана, конечно:

*Il faut a chacun donner son joujou*  
*E. Rostand*<sup>25</sup>

Каков же был стих? Не на тему, конечно, стих, написан-

---

<sup>25</sup> NB! Брюсову, напр<имер>, конкурс (примеч. М. Цветаевой).

ный вовсе не на Эдмонда, за полгода *до*, своему Эдмонду, стих не только не на тему, а обратный ей и, обратностью своей, подошедший. Вот он:

*“Но Эдмонда не покинет  
Дженни даже в небесах”.*  
*Воспоминанье слишком давит плечи,  
Я о земном заплачу и в раю,  
Я старых слов при нашей новой встрече  
Не утаю.\**  
*Где сонмы ангелов летают стройно,  
Где арфы, лилии и детский хор,  
Где всё – покой, я буду беспокойно  
Ловить твой взор.*  
*Виденья райские с усмешкой провожая,  
Одна в кругу невинно-строгих дев,  
Я буду петь, земная и чужая,  
Земной напев!*  
*Воспоминанье слишком давит плечи,  
Настанет миг – я слез не утаю...*  
*Ни здесь, ни там – нигде не надо встречи,  
И не для встреч проснемся мы в раю!<sup>26</sup>*

\* \* \*

Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда “Волшебного фонаря”, вышедшего раньше выдачи, но уже после при-

<sup>26</sup> Лучше бы: не повторю (примеч. М. Цветаевой).

суждения премий. (“Волшебный фонарь”, с.75.)

С месяц спустя – я только что вышла замуж – как-то заходим с мужем к издателю Кожебаткину.

– Поздравляю Вас, Марина Ивановна! Я, думая о замужестве:

– Спасибо.

– Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, решил вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых.

Я рассмеялась.

Получать призы нужно было в “О-ве Свободной Эстетики”. Подробности стерлись. Помню только, что когда Брюсов объявил: “Первого не получил никто, первый же из двух вторых – г-жа Цветаева”, – по залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется Брюсовым же, стихи, после “премированных” (Ходасевич, Рафалович, я) – “удостоившиеся одобрения”, не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда все по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской жестокости – жена его, Жанна Матвеевна.

Приз – именной золотой жетон с черным Пегасом – непосредственно Брюсовым – из руки в руку – вручен. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились! И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело:

– Значит, я теперь – премированный щенок? Ответный

смех залы и – добрая – внезапная – волчья – улыбка Брюсова. “Улыбка” – условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка! Только не наша, волчья. (Оскал, ослаб, ощер.)

Тут я впервые догадалась, что Брюсов – волк.

\* \* \*

Если не ошибаюсь, в тот же вечер я в первый (и единственный) раз увидела поэтессу Львову. Невысокого роста, в синем, скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка. Встречный, к брюсовскому наклону, подъем. Совершенное видение мужчины и женщины: к запрокинутости гордости *им* – снисхождение гордости *собой*. С трудом сдерживаемая кругом осчастливленность.

Он – охаживал.

# Часть вторая

## Революция

### І. Лито

Премированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 г. по 1920 г. мы – я жила вне литературной жизни – не встречались.

Был 1919 г. – самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется Ходасевич, надумил меня снести книгу стихов в Лито<sup>27</sup>. “Лито ничего не печатает, но все покупает”. Я: “Чудесно”, – “Отделом заведует Брюсов”. Я: “Чудесно, но менее. Он меня не выносит”. – “Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки – пять дней хлеба”.

Переписала “Юношеские стихи” (1913 г. – 1916 г., до сих пор неизданные) и “Версты” I (изданы в 1922 г. Госиздатом) и, взяв в правую – пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую – рукопись, пошла пытаться счастья в Лито. Никитская, кажется? Брюсова не было, был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила и кануло – и стихи и я.

Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о

---

<sup>27</sup> Литературный отдел (примеч. М. Цветаевой)



них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, во-  
время не спрошенной и потому уже – не моей. Всё же как-  
то собралась. Прихожу в Лито: пустота: Буданцев. “Я при-  
шла узнать про две книги стихов, сданных около году назад”.  
Легкое смущение, и я, выручая: “Я бы очень хотела получить  
обратно рукописи, – ведь ничего, очевидно, не вышло?” Бу-  
данцев, радостно: “Не вышло, не вышло, между нами – Ва-  
лерий Яковлевич *очень* против вас”. – “Здесь и малого до-  
статочно. Но рукописи – живы?” – “Живы, живы, сейчас вер-  
ну”. – “Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требо-  
вать поэт”.

Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю, и –  
о сюрприз – второй в жизни автограф Брюсова! В целых три  
строчки отзыв – его рукой!

“Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно  
и не отражающие соответственной современности, беспо-  
лезны”. Нет, еще что-то было, запомнила, как всегда, выс-  
шую ноту – конец. Зрительное же впечатление именно трех  
строк брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка.  
Что могло быть в тех полутора? Не знаю, но хуже не бы-  
ло. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранит-  
ся у друзей, в Москве. Развитием римской формулировки  
Брюсова – российски-пространная (на сей раз машинная) от-  
пись его поклонника, последователя и ревнителя – С. Боб-  
рова. “До тошноты размазанные разглагольствования по по-  
воду собственной смерти...” Это о “Юношеских стихах”, о

“Верстах” же помню всего одно слово, да и то не точно, вижу его написанным, но прочесть не могу, вроде “гносеологические”, но означающие что-то, касающееся ритмики. “Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым, “гносеологическим ямбом”... Брюсов дал тему, Бобров провариировал, в итоге – рукописи на руках.

Госиздат в 1922 г., в лице цензора коммуниста Мещерякова, оказался и сговорчивее и великодушнее.

\* \* \*

(Написав слово “цензор”, вдруг осознала: до чего само римское звучание соответствовало Брюсову! Цензор, ментор, диктатор, директор, цербер...)

\* \* \*

Потом Буданцев, при встрече, горячо и трогательно просил отзывы вернуть:

– Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня взыщут!

– Помилуйте, да ведь это мой *litre de noblesse*<sup>28</sup>, тютчевский патент на благородство, почетный билет всюду, где чтят поэзию!

---

<sup>28</sup> Принцип чести (фр.).

– Перепишите и верните подлинники!

– Как? Я – отдать автограф Брюсова? Автограф автора “Огненного Ангела”? (Пауза.) Отдать, когда можно – продать? Уеду за границу и там продам, так и передайте Брюсову!

– А отзыв Боброва? Ну, хоть Боброва верните!

– А Боброва за компанию. Три строки Брюсова – столько-то, в придачу четыре страницы Боброва. Так и передайте Боброву.

Отшучивалась и оставалась непреклонной.

## II. Вечер в консерватории

*(Запись моей, тогда семилетней, дочери Али)<sup>29</sup>*

*Никитская, 8.*

*Вечер в Б. Зале Консерватории*

Темная ночь. Идем по Никитской в Большой Зал Консерватории. Там будет читать Марина и еще много поэтов. Наконец, пришли. Долго бродим и ищем поэта В. Г. Шершеневича. Наконец, маме попадается знакомый, который приводит нас в маленькую комнатку, где уже сидели все, кто будет читать. Там сидел старик Брюсов с каменным лицом (после вечера я спала под его пальто). Я просила Марину поиграть на рояле, но она не решается. Скоро после того как мы вошли, я начала говорить стихи мамы к Брюсову, но она удержала меня. К маме подошел какой-то человек с завитыми волосами и в синей рубашке. Вид был наглеца. Он сказал: “Мне передали, что вы собираетесь выйти замуж”. – “Передайте тем, кто так хорошо осведомлен, что я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой”<sup>30</sup>. Тот отошел. Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел Буданцев и пошел с ней на эстраду. Я пошла с ней. Эстрада похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там сидели Марина, я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он про-

---

<sup>29</sup> Запись, не измененная ни в одном знаке (примеч. М. Цветаевой).

<sup>30</sup> Муж с декабря 1917 г. был в армии (примеч. М. Цветаевой).

чел вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что не понимала. Затем вышел имажинист Шершеневич. Он читал про голову, на голове стоит ботанический сад, на ботаническом саду стоит цирковой купол, а на нем сижу я и смотрю в чрево женщины как в чашу. Бедные машины, они похожи на стадо гусей, то есть на трехугольник. Весна, весна, ей радуются автомобили. И все вроде этого. Потом стал читать стихи Брюсов. После него вышла маленькая женщина с дуговатыми зубами. Она была в рваной фуфайке, с кротким лицом. У нее точно не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках свое тощее тело и не может ни приручить его к себе, ни расстаться с ним. Наконец вызвали маму. Она посадила меня на свое место, а сама пошла к читальному столу. Глядя на нее, все засмеялись. (Наверное оттого, что она была с сумкой<sup>31</sup>.) Она читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающего, как ястреб или сова на беззащитную птицу. Какой-то имажинист сказал: “Посмотри-ка. На верхних ложах сидят “одинокие”. Они держатся стаей”. Она читала не очень громко. Один мужчина даже встал и подошел ближе к эстраде. Стенька Разин, три стиха о том, как он любил персианочку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком, который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, *по-*

---

<sup>31</sup> Офицерской походной (примеч. М. Цветаевой).

*клонилась*<sup>32</sup>, чего никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все. Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой черный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало: под потолком в цирке на тоненькой веревочке висит танцовщица, а под ней на арене стоит горбач и хвалит ее. “Аля! Уйдем отсюда! Это будет долго длиться”. – “Нет, Марина, посмотрим, как будет”. Марина просила и я наконец согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату. Там не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно приехала из деревни. Я с совершенно осоловелым видом села на стул, и мама предложила мне лечь, пока никто не пришел. Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина предложила меня покрыть, и Марина накрыла чьим-то пальто. Вскоре после того, как я легла, ввалилась вся толпа поэтов. В комнатке было только четыре стула. Люди садились на столы, на подоконники, а я, хоть и слыхала смутно, что они садились даже на рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой ручки примостилась мама с тощей поэтессой. “Она спит”. – “Нет, у ней глаза открыты”. – “Аля, ты спишь?” – “Ннет”. Белые точки, головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег... Круглый сад с серыми грядками. Решетка черная. Серый цирковой купол с крестом. А под ботаническим садом красная трехугольная чаша. Это мне приснились стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнувшись, сбрасываю

---

<sup>32</sup> Подчеркнуто в подлиннике (примеч. М. Цветаевой).

с себя одеяло из пальто на волчьем меху. Мама совсем задущена моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. У стола стоят два человека. Один в летнем коротком пальто, другой в зимней дохе. Вдруг короткий понесся к двери, откуда вошел худой человек с длинными ушами<sup>33</sup>. “Сережа, милый дорогой Сережа, откуда ты?” – “Я восемь дней ничего не ел”. – “А где ты был, наш Сереженька?” – “Мне дали пол-яблока там. Даже воскресенья не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. Едва-едва вырвался. Холодно. Восемь дней белья не снимал. Ох, есть хочется!” – “Бедный, а как же ты вырвался?” – “Выхлопотали”. – Все обступили и стали спрашивать. Скоро мама получила 10 советских и мы стали собираться в поход. Я стала искать свои варежки и капор. Наконец мы снарядились и пошли. Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор Большой Консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят<sup>34</sup> фонари. Горит примус где-то в окне. Лает собака. Я всё время падаю, и мы идем разговариваем о Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами<sup>35</sup>. Я сказала: “Брюсов – камень. Он похож на дедушку Лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только такое существо, как Фаунтельрой. Если бы его повели на суд, он бы ложь говорил как правду, а правду как

---

<sup>33</sup> Сергей Есенин (примеч. М. Цветаевой)

<sup>34</sup> Но не горят (примеч. М. Цветаевой).

<sup>35</sup> По ночам – от воров – комиссионных магазинов (примеч. М. Цветаевой).

ложь”.

\* \* \*

Москва, начало декабря 1920 г.

Несколько дней спустя, читая “Джунгли”.

– Марина! Вы знаете – кто Шер-Хан? – Брюсов! – Тоже хромой и одинокий, и у него там тоже Адалис. (Приводит:) “А старый Шер-Хан ходил и открыто принимал лесть”... Я так в этом узнала Брюсова! А Адалис – приبلуда, из молодых волков.

\* \* \*

Восполню пробелы. Войдя со мной в комнату и сразу, по моему описанию, распознав Брюсова, Аля уже жила исключительно им. Так, все предложения поиграть на рояле – исключительно для него, продержать в страхе: а что – заиграю? Брюсов усиленно не глядел, явно насторожась, чуя, что неспроста, и не зная, во что разыграется (*telle mere, telle fille*<sup>36</sup>). В случае чего положение выходило нелепейшее: с семилетними (а выглядела она, по советскому худосочию, пятилетней) не связываются. (Убеждена, что считался и с двухлетними!)

---

<sup>36</sup> Какова мать, такова дочь (фр.).



Примечание второе. Декламация моих стихов к Брюсову – Брюсову же – экспромт, от которого я похолодела. Чувство, что в комнате сразу стало тесно, – не комната, а клетка, и не только волк в ней – я с ним! Точное чувство совместной запертости с волком, с той же, первых секунд, неловкостью и зверя и человека. Но было и другое. Здесь, в этой спертости, почти лоб в лоб, при стольких свидетелях! услышать от семилетнего, с такими чудесными глазами! Ребенка – браваду его, так еще недавно семнадцатилетней, матери. Ушами услышать! Воушию! Был бы Брюсов глубок, будь у него чувства более острые, чем: Брюсов! (нужных мыслей у него было вдоволь) – перешагни он через себя, он бы оценил эту неповторяемость явлений...

*Я забыла, что сердце в Вас – только ночник,  
Не звезда! Я забыла об этом!  
Что поэзия Ваша – из книг...*

Остановилась на первой, остановилась на третьей строке. Но была, в этом вызове, кроме мести за меня, унаследованная от меня и тотчас мною узнанная – **влюбленность вражды**. И, если стих внезапно не окончился поцелуем – то только из застенчивости. (Такой породы в ласке робки, не в ударе.)

Что думал? Невоспитанная девочка? Нет, воспитанная. Подученная мною? Явно – нет, он же видел чистоту моего испуга. Не понравиться – внешне – тоже не могла (Вячеслав Иванов: “Раскрывает сердце и входит”). Думаю, что единственное, что он думал: “Скорей бы!” И – о ужас! – он на эстраду, она (со мной) – за ним! Сидим чуть ли не рядом. Что еще ждет? Какой “экспромт”?

К его чести скажу, что волчьей шубы своей с нее, спящей, он не снял, хотя спешил. Покашливал и покашливал. Во оправдание же свое скажу, что именно *его* шубы не выбирала. Просто – меховая! Хорошо под мехом! Аля может сказать: “Я спала под шкурой врага”.

О руке же, не снявшей:

*Если умру я, и спросят меня:*

*“В чем твое доброе дело?”*

*Молвлю я: “Мысль моя майского дня*

*Бабочке зла не хотела”.*

(Бальмонт)

### III. Вечер поэтесс

*Не очень много шли там,  
И не в шитье была там сила...*

Летом 1920 г., как-то поздно вечером ко мне неожиданно вошла... вошел... женский голос в огромной шляпе. (Света не было, лица тоже не было.)

Привыкшая к неожиданным посещениям – входная дверь не запиралась – привыкшая ко всему на свете и выработавшая за советские годы привычку никогда не начинать первой, я, вполоборота, ждала.

“Вы Марина Цветаева?” – “Да”. – “Вы так и живете без света?” – “Да”. – “Почему же вы не велите починить?” – “Не умею”. – “Чинить или велеть?” – “Ни того, ни другого”. – “Что же вы делаете по ночам?” – “Жду”. – “Когда зажжется?” – “Когда большевики уйдут”. – “Они не уйдут никогда”. – “Никогда”.

В комнате легкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что пенье. Смех явствовал ум.

“А я Адалис. Вы обо мне не слышали?” – “Нет”. – “Вся Москва знает”. – “Я всей Москвы не знаю”. – “Адалис, с которой – которая... Мне посвящены все последние стихи Валерия Яковлевича. Вы ведь очень его не любите?” – “Как он меня”. – “Он вас не выносит”. – “Это мне нравится”. – “И

мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы ему никогда не нравились”. – “Никогда”.

Новый смех. Волна обоюдной приязни растет.

“Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вечере поэтесс”. – “Нет”. – “Я так и знала и сразу сказала В. Я. Ну, а со мной одной будете?” – “С вами одной, да”. – “Почему? Вы ведь моих стихов не знаете”. – “Вы умны и остры и не можете писать плохих стихов. Еще меньше – читать”. (Голос вкрадчиво:) – “Со мной и с Радловой?” – “Коммунистка?” – “Ну, женский коммунизм...” – “Согласна, что мужской монархизм – лучше. (Пауза.) Донской. Но, шутки в сторону, партийная или нет?” – “Нет, да нет же!” – “И вечер совершенно вне?” – “Совершенно вне”. – “Вы, Радлова и я”. – “Вы, Радлова и я”. – “Платить будут?” – “Вам заплатят”. – “О, не скажите! Меня любят, но мне не платят”. – “Брюсов вас не любит и вам заплатит”. – “Хорошо, что Брюсов меня не любит!” – “Повторяю, не выносит. Знаете, что он сказал, получив ваши рукописи? “Я высоко ценю ее, как поэта, но как женщину я ее не выношу, и она у меня никогда не пройдет!” – “Но ведь стихи предлагал поэт, а не женщина!” – “Знаю, говорила – говорили – непереубедим. Что у вас, собственно, с ним было?”

Рассказываю, смеясь, то, что читатель уже знает. Адалис: “Он мстителен и злопамятен”. – “Я никогда не считала его ни христианином, ни славянином”. – “И, временами, непомерно мелок”. – “За “непомерно” прощаю”.

С поэтессой Адалис мы, если не подружились, приятельствовали. Она часто забегала ко мне, чаще ночью, всегда взволнованная, всегда голодная, всегда неожиданная, неизменно-острая.

“В. Я. меня к вам ревнует, я постоянно говорю о вас”. – “С целью или без цели?” – “И так и так. От одного звука вашего имени у него лицо темнеет”. – “Зачем темнить? И так не из светлых”.

Внешность Брюсова. Первое: негибкость, негнушность, вплоть до щетиной брызжущих из черепа волос (“бобрик”). Невозможность изгиба (невозможность юмора, причуды, *imprevu*<sup>37</sup>, – всего, что относится к душевной грации). Усы – как клыки, характерное французское *en stoc*<sup>38</sup>. Усы наладчика, шевелящиеся в гневе. Форма головы – конус, посадка чуть кверху, взирание и вызов, неизменное свысока. Волевой, наполеоновский, *естественнейший* – сосредоточенной воли жест! – скрещивать руки. Руки вдоль тела – не Брюсов. Либо перо, либо крест. В раскосости и скуластости – переключка с Лениным. Топорная внешность, топором, а не резцом, не крепко, но метко. При негодности данных – сильнейшее *данное* (не дано, дал).

<sup>37</sup> Неожиданного (фр.).

<sup>38</sup> Закрученные кверху (фр.).

Здесь, как в творчестве, Брюсов явил из себя всё, что мог.

\* \* \*

А глаза каре-желтые, волчьи.

\* \* \*

(Уже по написании этих строк. Одна моя знакомая, на мой вопрос, какое у него было лицо, с гениальностью женской непосредственности: “Не знаю, какое-то... обутое”.)

\* \* \*

У Адалис же лицо было светлое, рассмотрела белым днем в ее светлейшей светелке во Дворце Искусств (уг<ол> Поварской и Кудринской, д<ом> гр. Сологуба). Чудесный лоб, чудесные глаза, весь верх из света. И стихи хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские. (Брюсов совершенно вне элементарного, но в чем-то правильного деления русской поэзии на Москву и Петербург.)

“Все говорят, что Брюсов мне их выправляет, – жаловалась она, – но, уверяю вас..” – “Вам нечего уверять. Брюсову на поэтесс везет, и если выправлять, то, во всяком случае, не

ему в данный час, ваши”. – “Что вы думаете о его стихах?” – “Думаю? многое. Чувствую? ничего”. – “Но большой мастер”. – “Но большой мастер”.

\* \* \*

Вот один из рассказов Адалис о Брюсове. Рассказ, от которого у меня сердце щемит.

“У В. Я. есть приемыш, четырехлетний мальчик, он его нежно и трогательно любит, сам водит гулять и особенно любит всё ему объяснять по дороге. “Вот это называется фронтон. Повтори: фронтон”. – “Фронтон”. – “А эта вот колонна – дорическая. Повтори: дорическая”. – “Дорическая”. – “А эта вот, завитком, ионический стиль. Повтори!” – “Ионический”. И т. д. и т. д. И вот, недавно, – он мне сам рассказывал – собачка навстречу, с особенным каким-то хвостом, закорючкой. И мальчик Брюсову: “А эта собачка – какого стиля? Ионийского или Дорийского?”

\* \* \*

Наше совместное выступление с Адалис состоялось больше полугода спустя, кажется в феврале 1921 г. Нельзя сказать, чтобы меня особенно вдохновили голубые афиши “Вечер поэтесс” – перечень девяти имен – со вступительным

словом Валерия Брюсова. Речь шла о трех, здесь трижды три, вместо выступления – выставка. От одного такого женского смотра я в 1916 г. уже отказалась, считая, что есть в поэзии признаки деления более существенные, чем принадлежность к мужскому или женскому полу, и отродясь брезгуя всем, носящим какое-либо клеймо женской (массовой) отдельности, как-то: женскими курсами, суфражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросом, за исключением военного его разрешения: сказочных царств Пенфезилей – Брунгильды – Марьи Моревны – и не менее сказочного петроградского женского батальона. (За школы кройки, впрочем, стою.) Женского вопроса в творчестве нет: есть женские, на человеческий вопрос, ответы, как-то: Сафо – Иоанна д'Арк – Св. Тереза – Беттина Брентано. Есть восхитительные женские вопли (“Lettres de M-elle de Lespinasse”<sup>39</sup>), есть женская мысль (Мария Башкирцева), есть женская кисть (Rosa Bonheur), но всё это – уединённые, о женском вопросе и не подозревавшие, его этим неподозрением – уничтожавшие (уничтожившие).

Но Брюсов, этот мужчина в поэзии *par excellence*<sup>40</sup>, этот любитель пола вне человеческого, этот нелюбитель душ, этот: правое – левое, черное – белое, мужчина – женщина, на такие деления и эффекты, естественно, льстился. Только вспомнить его “Стихи Нелли”, – анонимную книгу от лица

---

<sup>39</sup> “Письма мадемуазель де Леспинас” (фр.).

<sup>40</sup> По преимуществу (фр.).



женщины, выдавшую автора именно бездушностью своей, – и удивительное по скудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. И не только на деление мужчина – женщина льстился, – на всякие деления, разграничения, разъятия, на всё, что подлежало цифре и графе. Страж при сорокачетырехразрядном кладбище – вот толкование Брюсовым вольного братства поэзии и его роль при нем. Для Брюсова поэт без “ист” не был поэтом. Так, в 1920 г. кажется, на вопрос, почему на вечер всех поэтических направлений (“кадриль литературы”) не были приглашены ни Ходасевич, ни я, его ответ был: “Они – никто. Под какой же я их проставлю рубрикой?” (Думаю, что для Ходасевича, как для меня, только такое “никто” – лишний *titre de noblesse*<sup>41</sup>).

Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Влекся, любопытствовал и не любил. И тайна его разительного неуспеха во всем, что касается женской Психеи, именно в этом излишнем любопытствовании, в этом дальнейшем разъятии и так уже трагически разъятого, в изъятии женщины из круга человеческого, в этом искусственном обособлении, в этом им самим созданном зачарованном ее кругу. Волей здесь не возьмешь, и невольно вспоминается прекрасный перевод из весьма посредственного поэта:

*Спросили они: “Как красавиц привлечь,  
Чтоб сами, без чары, на страстную речь*

---

<sup>41</sup> Благородное звание (фр.).

*Оне нам в объятия пали?” —  
“Любите!” — оне отвечали.*

\* \* \*

Было у Брюсова всё: и чары, и воля, и страстная речь, одного не было — любви. И Психея — не говорю о живых женщинах — поэта миновала.

Вечер поэтесс был объявлен в Большом зале Политехнического Музея. Помню ожидальню, бетонную, с одной-единственной скамейкой и пустотой от — точно только что вынесенной — ванны. Поэтесс, по афише соответствовавших числу девять (только сейчас догадалась — девять Муз! Ах, ложно-классик!), казалось не девять, а трижды столько. Под напором волнения, духов, повышенных температур (многие кашляли), сплетен и кокаина, промерзлый бетон поддался и потек. В каморке стоял пар. Сквозь пар белесые же пятна — лица, красные кляксы — губы, черные *circonflex*'ы<sup>42</sup> — брови. Поэтессы, при всей разномастности, удивительно походили друг на друга. Поименно и полично помню Адалис, Бенар, поэтессу Мальвину и Поплавскую. Пятая — я. Остальные, в пару, испарились. От одной, впрочем, уцелел малиновый берет, в полете от виска до предельно спущенного с одного плеча выреза, срезавший ровно пол-лица. В этой параллель-

---

<sup>42</sup> Значок на буквой во фр. языке

ной асимметрии берета и выреза была неприятная симметрия: симметрия двух кривизн. Одеты были поэтессы, кроме Адалис (в закрытом темном), соответственно темам и размерам своих произведений – вольно и, по времени 1921 г., роскошно. Вижу одну, высокую, лихорадочную, сплошь танцующую, – туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна, тем десятого сорта очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдятся льститься, на которое бесстыдно, во всеуслышанье – льщусь. Из зрительных впечатлений, кроме красного берета и чахоточных мехов, уцелел еще гаменовский очерк поэтессы Бенар – головка Гавроша на вольном стволе шеи – и, тридцатых годов, подчеркнуто – неуместно – нестерпимо-невинное видение поэтессы Мальвины, – “стильной” вплоть до голубых стеклянных бус под безоблачным полушарием лба.

Выставка, внешне, обещала быть удачной, Брюсов не прогадал.

\* \* \*

Не упомянуть о себе, перебрав, приблизительно, всех, было бы лицемерием, итак: я в тот день была явлена “Риму и Миру” в зеленом, вроде подрясника, – платьем не назовешь (перифразировка лучших времен пальто), честно (то есть – тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским, 1-

ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка (коричневая, кожаная, для полевого бинокля или папирос), снять которую сочла бы изменой и сняла только на третий день по приезде (1922 г.) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга. Ноги в серых валенках, хотя и не мужских, по ноге, в окружении лакированных лодочек, глядели столпами слона. Весь же туалет, в силу именно чудовищности своей, снимал с меня всякое подозрение в нарочитости (“ne reut pas qui veut”<sup>43</sup>). Хвалили тонкость тальи, о ремне молчали. Вообще скажу, что в чуждом мне мире профессионалок наркотической поэзии меня встретили с добротой. Женщины, вообще, добрей. Мужчины ни голодных детей, ни валенок не прощают. Та же П<о-плав>ская, убеждена, тотчас же сняла бы с плеч свои соболя, если бы я ей сказала, что у меня голодает ребенок. Жест? Да. И цельнее жеста Св. Мартина, царственно с высоты коня роняющего нищему половину (о ирония!) плаща. (Самый бездарный, самый мизерный, самый позорный из всех жестов даяния!)

Берет, соболя, 30-ых годов пробор, Гаврош, мой подрясник (об Адалис особо), – если не прогадал Брюсов, не прогадал и зал.

---

<sup>43</sup> “Не всякий может, кто хочет” (фр.).

\* \* \*

Вспомнила, в процессе переписки, еще двух: грузинскую княжну, красивую, с, кажется, неплохими стихами, и некую Сусанну – красавицу – совсем без стихов.

\* \* \*

Эстрада. Эстрада место явное. Явленность же и в самом звуке: “Здравствуй! радуйтесь!” Эстрада: поднятая от земли площадь, и самочувствие на ней – самочувствие на плацдарме, перед ликом толп, конного. Страсти эстрады – боевые. Уж одно то, что ты фактически – физически – выше всех, создает друзей и врагов. То, что терпимо и даже мило в комнате (“нет техники, но есть чувство”, “нет размера, но есть чувство”, “нет голоса, но есть чувство”), на эстраде – преступно. Превысив – хотя бы на три пяди! – средний уровень паркета, ты этим обязался на три сажени превысить средний (салонный) уровень в твоём искусстве. У эстрады свой масштаб: беспощадный. Место, где нет полумер. Один против всех (первый Скрябин, например), или один за всех (последний Блок, например), в этих двух формулах – формула эстрады. С остальными нужно сидеть дома и увеселять знакомых.

Эстрада Политехнического Музея – не эстрада. Место, откуда читают – дно морей. Выступающий – утопленник (утопающий), на которого давит все людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движениями удава (амфитеатр). Зритель на являемого – наваливается. Голос являемого – глас из глубины морей, вопль о помощи, не победы. Если освистан – конец, ибо даже того, чисто физически встающего утешения нет, что снизу. Освистанный на подмостках проваливается только до среднего уровня (зрителя), освистанный в Политехническом Музее – ниже возможного, в тартарары. Тебя освистывает весь человеческий верх, вся идея верха. Эмпиреи, освистывающие Тартар. И не только освистывающие. Притяжение ли бездны, выявление ли чувства власти и легкости, но высота особенно располагает к швырянию предметов. Стадное чувство безнаказанности, единоличное чувство иерархически-топографического превосходства, тут же переходящее в превышение прав. Политехнический Музей – незаменимое место для стадной наглости и убийственное – для авторской робости. Макс Волошин однажды (доклад о Репине) героически с ним совладал.

И, догадалась, эстрада Политехнического Музея – просто арена, с той разницей, что тигры и львы – сверху.

Итак, арена. Мороз. И постепенным повышением взгляда – точно молясь на зрителя! – полуцепи, ожерелья, лампийные гирлянды – лиц. (Кстати, почему лица, в наш век бескровные, в 1920 же году явно зеленые, с эстрады – неизмен-

но розовые?) Гляжу на поэтесс: синие. Зал – три градуса ниже нуля, ни одна не накинет пальто. Вот он, героизм красоты. По грубоватости гула и сильному запаху голенищ заключаю, что зал молодой и военный.

Пока Брюсов переживает – так и не наступающую тишину, вчувствовываюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, где стою (посмешищем), со дна того же колодца так недавно еще подымался голос Блока. И как весь зал, задержав дыхание, ждал. И как весь зал, опережая запинку, подсказывал. И как весь зал – отпустив дыхание – взрывался! И эту прорванную плотину – стремнину – лавину – всех к одному, – который один за всех! – любви.

– Товарищи, я начинаю.

Женщина. Любовь. Страсть. Женщина, с начала веков, умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины – любовь. Каждая любовь женщины – страсть. Вне любви женщина, в творчестве, ничто. Отнимите у женщины страсть... Женщина... Любовь... Страсть...

Эти три слова, всё в той же последовательности, возвращались через каждые иные три, возвращались жданно и неожиданно, как цифры выскакивают на таксометре мотора, с той разницей, что цифры новые, слова ж всё те ж. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосами наострялись. Что до зала, он был безобразен, непрерывностью гула вынуждая лектора к все большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Казалось – зал читает лекцию, которую Брю-

сов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной: *таким* читать! *такое* читать! *с такими* читать! Тройной.

Итак: женщина: любовь: страсть. Были, конечно, и иные попытки, – поэтесса Ада Негри с ее гуманитарными запросами. Но это исключение и не в счет. (Даю почти дословно.) Лучший пример такой односторонности женского творчества являет собой... являет собой... – Пауза – ...Являет собой... товарищи, вы все знаете... Являет собой известная поэтесса... (с раздраженной мольбой:) – Товарищи, самая известная поэтесса наших дней... Является собой поэтесса...

Я, за его спиной, вполголоса, явственно:

– Львова?

Передерг плечей и – почти что выкриком:

– Ахматова! Являет собой поэтесса – Анна – Ахматова... ..Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве. Но пока, утверждаю, он еще не отразился, и женщины все еще пишут о любви и о страсти. О любви и о страсти...

Уши, под волосами, определенно – встали. Торопливо листаю и закладываю спичками черную конторскую книжечку стихов.

– Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских поэтесс, может быть, разнящихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь ни



о чем, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке... (Кончил – как оторвал, и, вполоборота, к девяти музам:) – Товарищ Адалис?

Тихий голос Адалис: “Валерий Яковлевич, я не начну”. – “Но”... – “Бесполезно, я не начну. Пусть начинает Бенар”. Брюсов, к Бенар, тихо: “Товарищ Бенар”? И звонкий гаменовский голосочек: “Товарищ Брюсов, я не хочу первая”... В зале смешки. Брюсов к третьей, к четвертой, ответ, с варьянтами, один:

“Не начну”. (Варьянты: “боюсь”, “невыгодно”, “не привыкла первой”, “стихи забыла” и пр.). Положение – крайнее. Переговоры длятся. Зал уже грохочет. И я, дождавшись того, чего с первой секунды знала, что дождусь: одной миллиардной миллиметра поворота в мою сторону Брюсова, опережая просьбу, просто и дружески: “В.Я., хотите начну”? Чудесная волчья улыбка (вторая – мне – за жизнь!) и, освобожденным лаем:

– Товарищи, первый выступит (подчеркнутая пауза) *поэт* Цветаева.

Стою, как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза к высоко поднятой тетрадке, – спокойная – переживаю (тот-час же наступающую) тишину. И явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов:

*Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет...*

*И вот потомки, вспомнив старину:*

– Где были вы? – Вопрос, как громом, грянет,  
Ответ, как громом грянет: на Дону!  
– Что делали? – Да принимали муки,  
Потом устали и легли на сон...  
И в словаре задумчивые внуки  
За словом: долг напишут слово: Дон.

Секунда пережидания и – рукоплещут. Я, чуть останавливая рукой, – дальше. За Доном – Москва (“кремлевские бока” и “Гришка-Вор”), за Москвой – Андрей Шенье (“Андрей Шенье взошел на эшафот”), за Андреем Шенье – Ярославна, за Ярославной – Лебединый стан, так (о седьмом особо) семь стихов подряд. Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная секунда тишины (то ли слышу?) и (очевидно, не то!) прорвалась – рукоплещут. Эти рукоплескания меня каждый раз, как Конек-Горбунок – царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голосу, смысл стихов, вообще, не доходит, – скажу больше: что для большинства в стихах дело вовсе не в смысле, и – не слишком много скажу, – что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. Здесь же, после предисловия Брюсова (пусть не слушали – слышали!) я могла разрешить себе решительно все, – *le pavilion* (Брюсов с его любовью и страстью) *couvre la marchandise*<sup>44</sup> (меня, например, с моей Белой Гвардией). Делая такое явное безумие,

---

<sup>44</sup> Здесь: под его маркой мог пройти любой товар (фр.).

я преследовала две, нет, три, четыре цели: 1) семь женских стихов без любви и местоимения “я”, 2) проверка бессмысленности стихов для публики, 3) перекличка с каким-нибудь одним, понявшим (хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Москве 1921 г., *долга чести*. И вне целей, бесцельное – пуще целей! – простое и крайнее чувство: – а ну?

Произнося, вернее, собираясь произнести некоторые строки: (“Да, ура! За царя! Ура!”) я как с горы летела. Не произнесла, но сейчас – уже волей не моей, а стиха – произнесу. Произношу. Неотвратимость.

Стих, оказавшийся последним, был и моей, в тот час, перед красноармейцами – коммунистами – курсантами – моей, жены белого офицера, последней правдой:

*Кричали женщины ура  
И в воздух чепчики бросали...  
Руку на сердце положила:  
Я не знатная госпожа!  
Я – мятежница лбом и чревом.  
Каждый встречный, вся площадь – все! —  
Подтвердят, что в дурном родстве  
Я с своим родословным деревом.  
Кремль! Черна чернотой твоей!  
Но не скрою, что всех мощей  
Преценнее мне – пепел Гришкин!  
Если ж чепчик кидаю вверх, —*

*Ах! не так же ль кричат на всех  
Мировых площадях – мальчишки?!  
Да, ура! – За царя! – Ура!  
Восхитительные утра  
Всех, с начала вселенной, взездов!  
Вьше башен летит чепец!  
Но – миңуя литой венец  
На челе истукана – к звездам!*

\* \* \*

В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями мира, мое последнее – все розни покрывающее – доверие, взлет всех колпаков – фригийских ли, семейственных ли – поверх всех крепостей и тюрем – я сама – самая я.  
– Г-жа Цветаева, достаточно, – повелительно-просящий шепот Брюсова. Вполоборота Брюсову: “Более чем”, поклон залу – и в сторонку, давая дорогу —  
– Сейчас выступит товарищ Адалис.

\* \* \*

Товарищу Адалис в тот вечер, точнее в тот месяц ее жизни, выступать совсем не следовало, и выступление ее, как всякое пренебрежение возможными, неминуемыми усмеш-

ками – героизм. Усмешки были, были и, явственно, смешки. Но голос, как всегда (а есть он не всегда), сделал свое: зал втянулся, вслушался. (Не в голосовых средствах дело: “on a toujours assez de voix pour être entendu”<sup>45</sup>.) А – Адалис, Б – Бенар. Стихи Бенар, помню, показались мне ультрасовременными, с злободневной дешевкой: мир – мы, мгла – глаз, туч – стучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у (впервые ее введшей) Ахматовой – у которой все звучит. Темы и сравнения из мира железобетонного, острота звуков без остроты смыслов, не думаю, чтобы ценные – уж очень современные! – стихи. Бенар, кивком откланявшись, устранилась.

На смену Бенар – элегическое появление Мальвины. У нее был альбом, и поэты вписывали в него стихи, – не какие-нибудь, и не какое-нибудь, – мне посчастливилось открыть его на изысканно-простом посвящении Вячеслава. (“Вячеслав” не из короткости с поэтом и не из заглавной фамильярности, – из той же ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без имени. Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт Константина. Иванов вслед за Вячеславом – то же, что Романов вслед за монархом – революционный протокол.) Итак, перед входящим во вкус залом элегическая ручьевая ивовая Мальвина. – О чем? – О ручьях и об ивах, кажется, о беспредметной тоске весны. (Брюсов, Брюсов, где же пресловутые любовь и страсть? Я

---

<sup>45</sup> “Всегда хватает голоса, чтобы быть услышанным” (фр.).

– Белую Гвардию, Адалис – описательное, Бенар – машины, Мальвина – ручейки (причем все, кроме меня, неумышленно!). Уж не есть ли ты сам – та женщина в единственном числе, и не придется ли тебе, во оправдание слов твоих, выступить после девяти муз – десятой?)

Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать не довелось – не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному – дослушав воркование мальвининых струй, пошла проведать тотчас же по выступлении исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежала на скамейке, с вострия лакированной туфельки по вострие подбородка укутанная в подобие шубы. Вид был дроглый и невеселый. “Ну, как”? – “Всё читают”. – “А В<алерий> Я<ковлевич>?” – “Слушает”. – “А зал?” – “Смотрит”. – “Позор?” – “Смотрины”.

Закурили. Зубы тов. Адалис лязгали. И внезапно, сбрасывая шубу: “Вы знаете, Ц<ветае>ва, мне кажется, что у меня начинается”. – “Воображение”. – “Говорю вам, что у меня начинается”. – “А я говорю, что кажется”. – “Откуда вы знаете”? – “Слишком эффектно: вечер поэтесс – и... Вроде папессы Жанны. Это бывает в истории, в жизни так не бывает”. – Смеемся. И через минуту Адалис певуче: “Ц<ветае>ва, я не знаю, начинается или нет, но можете вы мне оказать большую услугу?” – Я, что-то чуя: “Да!” – “Так подите скажите В<алерию> Яковлевичу), что я его зову – срочно”. – “Прервав чтение”? – “Это уж – как хотите”. – “Адалис, он расสวิрепает”. – “Не посмеет, он вас боится, особенно после

сегодняшнего”. – “Это ваше серьезное желание”? – “Serieux comme la mort”<sup>46</sup>.

Вхожу в перерыв рукоплеска соболевхвостой, отзываю в сторону Брюсова и, тихо и внятно, глаза в глаза: “Товарищ Брюсов, товарищ Адалис просит передать вам, что у нее, кажется, начинается”. Брюсов, бровями: “?” – “Что – не знаю, передаю, как сказано, просит немедленно зайти: срочно”.

Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду, слушаю следующую, одну из тех, что испарились. (Кстати, нерусскость имен и фамилий: Адалис, Бенар, Сусанна, Мальвина, полька Поплавская, грузинская княжна на “или” или “идзе”. Нерусскость, на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпадение далеко не заведомое: Мандельштам, например, не только русский, но определенной российской поэтической традиции – поэт. Державиным я в 1916 г. его окрестила первая:

*Что Вам, молодой Державин,  
Мой невеститанный стих!*

И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, ни Москвы, ни России ни краем не отразивший. Национальность не ничто, но не всё.)

Через четыре четверостишия явление Брюсова, на этот раз он – ко мне: “Г<оспо>жа Цветаева, товарищ Адалис про-

---

<sup>46</sup> Серьезное, как смерть (фр.).

сит вас зайти...” – тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу: Адалис перед зеркалом пудрит нос. “Это ужасный человек, ничему не верит”. – Я: “Особенно, если каждый день “начинается”. Адалис, капризно: “Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнется же когда-нибудь!.. Я его посылаю за извозчиком – не идет: “Мое место на эстраде”. А мое – над”. – “Давайте, схожу?” – “Цветаева, миленькая, но у меня ни копейки на извозчика, и мне, действительно, скверно”. – “Взять у Брюсова?” Она испуганно: “Нет, нет, сохрани Бог!”

Вытрясаем, обе, содержание наших кошельков, – безнадежно, не хватит и на четверть извозчика.

Вдруг – порыв ветра, надушенного, многоречивого и тревожного. Это соболевхвостая влетает, в сопровождении молодого человека в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболиные хвосты летят, летят и оленьи уши: “Je vous assure, je vous assure, je vous jure...”<sup>47</sup>. Чистейшая французская речь с ее несравненным – в горле или в небе? нет, в веках и в крови гнездящимся – жемчужным, всю славянскую душу переворачивающим – эр. “Mais ce que je voudrais bien savoir, Madame, это уши задыхаются, – si c’est vous ou votre man qui m’avez vendu?”<sup>48</sup> Как слепые, как одержимые, не слышат, не видят. Молодой человек в последней степени неистовства, женщина сдерживается, только пристук лака о бетон. (Была бы змея, стучал бы самый

---

<sup>47</sup> “Я уверяю вас, я уверяю вас, я клянусь...” (фр.).

<sup>48</sup> “Вот что я хотел бы знать, сударыня, – вы или ваш муж предали меня?” (фр.).



хвостик.) “Это М, – уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Адалис, – она – баронесса, недавно вышла замуж за барона, а молодой человек...”

Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, не слушая, не отвечая, не прерывая, – сплошные рулады р, каждый одно, каждый свое: – “Je vous assure, je vous assure, je vous jure...” – “Je le sauna, Madame!”<sup>49</sup> Частят слова: “Tcheka, fusille, perquisition”<sup>50</sup>. Жемчуга в крайней опасности: вот-вот оборвет, посыплется, раскатятся теми же россыпями горловых рулад: “Je vous assure, je vous assure, je...”

Глаза у героини светлые, невидящие, превышающие собеседника и жизнь. На лунатическом лице только рот один живет, не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, каскады, мириады р. От этих р у меня уже глаза смыкаются, сонная одурь, как от тысячи грохочущих ручьев. Сцена из романа? Да. Из бульварного? Да. Равна бульвару по кровавости только застава. Но положение изменилось, теперь уже женщина настукает, настигает, швыряет в лицо оскорбление за оскорблением, а мужчина весь сжался, как собственные уши под меховыми, сползся, ссохся – совсем на нет – нет! Загнала собольехвостая – оленьеушого!

---

<sup>49</sup> “Я уверяю вас, я уверяю вас, я клянусь... Я это знаю, сударыня!” (фр.).

<sup>50</sup> Чека, расстрелян, обыск (фр.).

– А черт бы ее взял – женскую поэзию! Никакого сбора! Одни курсанты да экскурсанты. Говорыл я В<алерию> Я<ковлеви>чу, а он: “женская лырыка, женская лырыка...” Вот тебе и лырыка, – помещение да освещение!

Это физический импресарио вошел, устроитель вечера, восточный, на “идзе”. (Ему, кстати, принадлежит всю Москву облетевшая тогда оценка ныне покойного писателя Гершензона, после одного, убыточного для него, идзе, выступления последнего: “Как мог я думать, что Союз Писателей выпустит такого дурака?!”)

Я:

– При Людовике XIV поэт Жильбер от лирики с ума сошел и ключ от рукописей проглотил, в XVIII в. англичанин Чэттертон – уже не помню, что – но от нее же, Андрей Шенье – голову обронил. Вредная вещь лирика. Радуйтесь, что так дешево отделались.

– Это вы про господ поэтов говорите, – их дело, что такую профессию выбирают, – ну а я, госпожа поэтесса, при чем?

– Возле лирики околачиваетесь. Нажить – с лирики!

– И напрасно думаете! Кто, вы думаете, устраивал вечер Игоря Северянина? Ваш покорный слуга. И отлично на этом Игоре заработал, и он в обиде не остался. Дело не в поэзии, а в...

– В бабах. Вот Вам и мораль: не связывайся с бабой, – всегда на бабах.

– Вам, госпожа поэтесса, смешно...

– Смешно. Женские души продавать! Вроде Чичикова! Вы бы телами занялись! “Идзе”, не слушая:

– Получите свой гонорар и (внезапно прерывая:) что там за катастрофа?

Выбегаем всё: импресарио, враждующие любовники, Н, Адалис, я. Плотина прорвалась. Потолок не выдержал? Политехнический Музей возомнил себя Везувием? Или Москва проваливается – за грехи?

На эстраде, с милейшей, явнейшей, малиновойшей из улыбок – красный берет!

Легкое отступление. Рукоплескали нам всем, Адалис, Бенар, поэтессе в жемчугах, Мальвине, мне – приблизительно равно: в пределах вполне удовлетворенного любопытства. Это же, это же был – успех. (Успех наперед и в кредит, ибо не успела произнести еще ни слова, но – разве дело в словах?)

И вот, все еще безмолвное, постепенное, как солнце всходит, освещая грядку за грядой, ознакомление красного берета с амфитеатром. Должно быть, кого-то узнала в первом ряду – кивок первому ряду, и в третьем, должно быть, тоже узнала, потому что и в третий кивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и всем разные, всем отдельные, не вообще – кивок, – кивок лукавый, кивок короткий, кивок с внезапным перебросом берета с уха на ухо, кивок поверхностный, кивок па-

мятливый... Как она была прелестна, как проста в своей радости, как скромна в своем триумфе. Рукоплесканья упорствовали, зал, не довольствуясь приветствием рук, уже пустил в ход ноги, – скоро предметы начнут швырять! А улыбка ширилась, уходила в безбрежность, переходила границы возможности и губ, малиновый берет заламывался все глубже и глубже, совсем в поднебесье, в рай, в раёк. И – странно: зал не тяготился ожиданием, зал не торопил событий, зал не торопил, зал не хотел стихов, зал был счастлив – так.

– Товарищ X, начинайте! – Но товарищ – Берет не слышит, у него своя давность с залом. – Да начинайте же, товарищ X! – В голосе Брюсова почти раздражение. И, естественно, из всей фатаморганы, видеть только спину да макушку заломленного берета!

По соседству возглас “идзе”:

– Вот бы ее – одну выпустить! Такая вечера не провалит!

\* \* \*

Стихи? Да были ли? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо – их много, они забываются, это не был рот – он в улыбке терялся, ничего не было, кроме улыбки: непрерывной раздвигаемо-

сти – губ, уже смытых ею! Улыбка – и ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: улыбка. И если спросят меня о земле – на другой планете – что я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое – улыбнусь.

Но, с планеты на эстраду. Это выступление было решительным торжеством красного, не флагового кровавого товарищеского, но с поправкой на женское (цвет лица, масть, туалет), красного не площадного – уличного, боевого – но женски-боевого.

Так, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы, Брюсов в своих утверждениях касательно истоков женского творчества утвержден – был.

\* \* \*

Выступление красного берета затягивается. Сидим с неугомонной Адалис в бетонной камерке, ждем судьбы (деньги). “Заплатят или нет?” – “Заплатят, но вот – сколько. Обещали по тридцати”. – “Значит по десяти”. – “Значит по три”.

Новый звуковой обвал Вавилонской башни, – очевидно. Берет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится... Крики, проникающие даже и в наш бетонный гроб:

– Красный дьявол! Красный дья-авол! Дья-а-вола!

Я к Адалис, испуганно: “Неужели это ее они так?” Та, смеясь:

“Да нет, это у нее стихи такие, прощание с публикой, коронный номер. Кончит – и конец. Идемте”.

Застаем последний взмах малинового беретта. Все эффекты к концу! И еще один взмах (эффект) непредвиденный – широкий жест, коим поэтесса, проходя, во мгновение и на мгновение ока – чистосердечно, от избытка чувств – запахи-вает Брюсова в свою веселую полосатую широкошумную гостеприимную юбку.

Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, опоясанный девятью Музами – скашиваю для лада и склада одну из нас – “восемь девок, один я”. Последние, уже животным воем, вызовы, ответные укороченные предстоящими верстами домой, поклоны, гром виноградной гроздью осыпающегося, расходящегося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал.

\* \* \*

Итог дня: не тридцать, не десять, но и не три – девять. И цепкая ручка ивовой ручьевой Мальвины, ввевшаяся в стальную мою. Ножки 30-х годов, ошибившись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской гололедицей, и приходится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года.



Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. – И только-то? – Да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. Блока – два раза. Кузмина – раз, Сологуба – раз. Пастернака – много – пять, столько же – Маяковского, Ахматову – никогда, Гумилева – *никогда*.

С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. (Были и везения, но перед горечью всего невзятого...)

Больших я в жизни всегда обходила, *окружала*, как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору своей любви? Ибо, если не для любви – для чего же встречаться? На другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) – то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия – разгадка к многим (не только моим, вообще людским, поэтому упоминаю) разминовениям.

Беречь себя? От того, для чего в мир пришел? Нет, в моем словаре “бережение” всегда – другого.

А, может быть, так и нужно – дальше. Дальше видеть, чтоб больше видеть, чтоб большим видеть. И моя доля – дали между мной и солнцами – благая.

Так, на вопрос: и только-то? мой ответ: “да – но как!”



И обращаясь к наиболее яркому из солнц, мне полярному солнцу – Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого другого поэта – Брюсов не в поэзии, а в воле к ней был явлен – то как всякую другую *силу*. И, окончательно вслушавшись, доказываю: Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила, только в этом виде любви (оттолкновении) сильнее, чем любила бы его в ее простейшем виде – притяжении.

Брюсов же этого, тугой на сердце, не расслышал и чисто-сердечно не выносил сначала “девчонки”, потом – “женщины”, весь смысл и назначение которой – утверждаю – в любви, а не в ненависти, в гимне, а не в эпиграмме.

Если Брюсов это, с высот ли низкого своего римского неба, из глубин ли готической своей высокой преисподни слышит, я с меньшей болью буду слышать звук его имени.



## IV. Брюсов и Бальмонт

*“Но я не размышляю над стихом  
И, правда, никогда не сочиняю!”*

*Бальмонт*

*“И ты с беспечального детства  
Ищи сочетания слов”.*

*Брюсов*

Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую книгу, – поэма уже написана: Моцарт, Сальери.

Обращено ли, кстати, внимание хотя бы одним критиком на упорное главенство буквы Б в поколении так называемых символистов? – Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Балтрушайтис.

Бальмонт, Брюсов. Росшие в те годы никогда не называли одного из них, не назвав (хотя бы мысленно) другого. Были и другие поэты, не меньшие, их называли поодиночке. На этих же двух – как сговорились. Эти имена ходили в паре.

Парные имена не новость: Гёте и Шиллер, Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. И в этой парности тайны никакой. Но “Бальмонт и Брюсов” – в чем тайна?

В полярности этих двух имен – дарований – темпераментов, в предельной выявленности, в каждом, одного из двух основных родов творчества, в самой собой встающей сопо-

ставляемости, во *взаимоисключаемости* их.

Всё, что не Бальмонт – Брюсов, и всё, что не Брюсов – Бальмонт.

Не два имени – два лагеря, две особи, две расы.

\* \* \*

Бальмонт<sup>51</sup>. Брюсов. Только прислушаться к звуку имен. Бальмонт: открытость, настежь – распахнутость. Брюсов: сжатость (ю – полугласная, вроде его, мне, тогда закрытки), скупость, самость в себе.

В Брюсове тесно, в Бальмонте – просторно.

Брюсов глухо, Бальмонт: звонко.

Бальмонт: раскрытая ладонь – швыряющая, в Брюсове – скрип ключа.

\* \* \*

Бальмонт. Брюсов. Царствовали, тогда, оба. В мирах иных, как видите, двоевластие, обратно миру нашему, возможно. Больше скажу: единственная примета принадлежности вещи к миру иному ее невозможность – нестерпимость – недопустимость – здесь. Бальмонто-Брюсовское же двоевла-

---

<sup>51</sup> Прошу читателя, согласно носителю, произносить с ударением на конце (примеч. М. Цветаевой.)

стие являет нам неслыханный и немислимый в истории пример благого двоевластия не только не друзей – врагов. Как видите; учиться можно не только на *стихах* поэтов.

\* \* \*

Бальмонт. Брюсов. Два полюса творчества. Творец-ребенок (Бальмонт) и творец-рабочий (Брюсов). (Ребенок, как *der Spieler*, игрун.) Ничего от рабочего – Бальмонт, ничего от ребенка – Брюсов. Творчество игры и творчество жилы. Почти что басня “Стрекоза и муравей”, да в 1919 г. она и осуществилась, с той разницей, что стрекоза моей басни и тогда, умирая с голоду, *жалела* муравья.

Сохрани Боже нас, пишущих, от хулы на ремесло. К одной строке словесно-неровного Интернационала да никто не будет глух. Но еще более сохраняют нас боги от брюсовских институтов, короче: ремесло да станет вдохновением, а не вдохновение ремеслом.

Плюсы обоих полюсов ясны. Рассмотрим минусы. Творчество ребенка. Его минус – случайность, произвольность, “как рука пойдет”. Творчество рабочего. Его минус – отсутствие случайности, произвольности, “как рука пойдет”, то есть: минус второго – отсутствие минуса первого. Бальмонт и Брюсов точно поделили меж собой поговорку: “На Бога надейся” (Бальмонт), “а сам не плошай” (Брюсов). Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов в своем “не плошании” – не сплохо-

вал. Оговорюсь: говоря о творческой игре Бальмонта, этим вовсе не говорю, что он над творением своим не работал. Без работы и ребенок не возведет своей песочной крепости. Но тайна работы и ребенка и Бальмонта в ее (работы) скрытости от них, в их и неподозревании о ней. Гора щебня, кирпичей, глины. “Работаешь?” – “Нет, играю”. Процесс работы скрыт в игре. Пот превращен в упоение.

\* \* \*

Труд-благословение (Бальмонт) и труд-проклятие (Брюсов). Труд Бога в раю (Бальмонт, невинность), труд человека на земле (Брюсов, виновность).

Никто не назовет Бальмонта виновным и Брюсова невинным, Бальмонта ведающим и Брюсова неведающим. Бальмонт – ненасытимостью всеми яблоками, кроме добра и зла, Брюсов – оскоминой от всех, кроме змиева. Для Бальмонта – змея, для Брюсова – змий. Бальмонт змеей любит, Брюсов у змия учится. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевае змия, в родстве с ним не он, а Брюсов.

\* \* \*

Брюсов греховен насквозь. От этого чувства греховности его никак не отделаться. И поскольку чтение соучастие, чте-

ние Брюсова – сопреступленчество. Грешен, потому что знает, знает, потому что грешен. Необычайно ощутимый в нем грех (прах). И тяжесть стиха его – тяжесть греха (праха).

При отсутствии аскетизма – полное чувство греховности мира и себя. Грех без радости, без гордости, без горечи, без выхода. Грех, как обычное состояние. Грех – пребывание. Грех – тупик. И – может быть, худшее в грехе – *скука* греха. (Таких в ад не берут, не жгут.)

Грех – любовь, грех – радость, грех – красота, грех – материнство. Только припомнить омерзительное стихотворение его “Девушкам”, открывающееся:

*Я видел женицу. Кривясь от мук,  
Она бесстыдно открывала тело,  
И каждый стон ее был дикий звук...*

и кончающееся:

*О девушки! о мотыльки на воле!  
Вас на балу звенящий вальс влечет,  
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий...  
Но каждая узнает свой черед  
И будет, корчась, припадать на ложе...  
Все станете зверями! тоже! тоже!*

Это о материнстве, *смывающем* всё!

К Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово “блуд-

ник”. Унылое и безысходное, как вой волка на большой дороге. И, озарение: ведь блудник-то среди зверей – волк!

\* \* \*

Бальмонт – бражник. Брюсов – блудник.

Веселье бражничества – Бальмонт. Уныние блудника – Брюсов.

И не чаро-дей он, а блудо-дей.

\* \* \*

Но, возвращаясь к работе его, очищению его:

Труд Бога в раю (Бальмонт) и труд человека на земле (Брюсов). Восхищаясь первым, преклонимся перед вторым.

\* \* \*

Да, как дети играют и как соловьи поют – упоенно! Брюсов же – в природе подобия не подберешь, хотя и напрашивался дятел, как каменщик молотит – сведенно. Счастье повиновенья (Бальмонт). Счастье преодоленья (Брюсов). Счастье отдачи (Бальмонт). Счастье захвата (Брюсов). По течению собственного дара – Бальмонт. Против течения собственной неодаренности – Брюсов.

(Ошибочность последнего уподобления. Неодаренность, отсутствие, не может быть течением, наличием. Кроме того, само понятие неодаренности в явном несоответствии с понятием текучести. Неодаренность: стена, предел, косность. Косное не может течь. Скорей уж – лбом об стену собственной неодаренности: Брюсов. Ошибку оставляю, как полезную для читающих и пишущих.)

И, формулой: Бальмонт, как ребенок, и работа – играет, Брюсов, как гувернёр, и играя – работает. (Тягостность его рондо, роделей, ригурнелей, – всех поэтических игр пера.)

Брюсов: заведомо-исключенный экспромт.

\* \* \*

Победоносность Бальмонта – победоносность восходящего солнца: “есмы и тем побеждаю”, победоносность Брюсова – в природе подобия не подберешь – победоносность воина, в целях своих и волей своей, останавливающего солнце.

Как фигуры (вне поэтической оценки) одна стоит другой. Бальмонт. Брюсов. Их единственная связь – чужеземность. Поколением правили два чужеземных царя. Не время вдаваться, дам вежи (пусть *нашет* – читатель!). После “наирусейшего” Чехова и наирусско-интеллигентнейшего Надсона (упаси Боже – приравнивать! в соцарствовании их повинно поколение) – после настроений – нестроений – расслоений – после задушенностей – задушевностей – вдруг –

“Будем как солнце!” Бальмонт, “Риму и Миру” – Брюсов.

Нет, не русский Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, “есть в русской природе усталая нежность” (определение, именно точностью своей выдающее иностранца), русским заговорам и ворожбам, всей убедительности тем и чувств, – нерусский Бальмонт, заморский Бальмонт. В русской сказке Бальмонт не Иван-Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и морей. Не последнее лицо в сказке – заморский гость! Но – спрашиваю, а не утверждаю – не есть ли сама нерусскость Бальмонта – примета именно русскости его? До-российская, сказочная, былинная тоска Руси – по морю, по заморью. Тяга Руси – из Руси вон. И, вслушиваясь, – нет. Тогда его тоска говорила бы по-русски. У меня же всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком не знаю, – бальмонтовском.

Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органическая поэзия на неорганическом языке. Ибо, утверждаю, язык Бальмонта, в смысле народности, неорганичен. Как сильна, должно быть, органичность внутренняя и личная (единоличная), чтобы вопреки неорганичности словесной – словами же – доходить! О нем бы я сказала как один преподаватель в Парижском Alliance francaise<sup>52</sup> в ответ на одну мою французскую поэму: “Vous etes surement poete dans votre langue”<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Курсы французского языка для иностранцев в Париже.

<sup>53</sup> “Вы, несомненно, поэт на своем языке” (фр.).



Бальмонт, родившись, открыл четвертое измерение: Бальмонт! пятую стихию: Бальмонт! шестое чувство и шестую часть света: Бальмонт! В них он и жил.

Его любовь к России – влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, при всей любви к нему, его никак не назовешь. Беспоследственным (разовым) новатором русской речи – да. Хочется сказать: Бальмонт – явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух – в воздухе.

Нация – в плоти, бесплотным национальный поэт быть не может (просто-поэт – да). А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи на Анды и слонов на ихтиозавров – всегда – заведомо – пленительно невесом.

*Я вселенной гость,  
Мне повсюду пир...*

Порок или преимущество? Страна больше, чем дом, земля больше, чем страна, вселенная больше, чем земля. Нерусскость (русскость, как составное) и русскость Бальмонта – вселенскость его. Не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении – Пушкине (гений, второй после диапазона, вопрос равновесия и – действия сил. Вне упомянутого Лермонтов не меньше Пушкина) – итак, только в Пушкине мир не пошел в ущерб дому (и обратно). В Бальмонте же одолел – мир. Зачарованный странник никогда не вернулся домой, в дом, из которого

ушел – как только в мир вошел! Все его возврата домой – налеты. Говоря “Бальмонт”, мы говорим: вода, ветер, солнце. (Меньше или больше России?) Говоря “Бальмонт”, мы (географически и грубо) говорим: Таити – Цейлон – Сиерра и, может быть, больше всего: Атлантида, и, может быть, меньше всего – Россия. “Москва” его – тоска его. Тоска по тому, чем не быть, где не жить. Недостигаемая мечта чужестранца. И, в конце концов, каждый вправе выбирать себе родину.

\* \* \*

Пушкин – Бальмонт – непосредственной связи нет. Пушкин – Блок – прямая. (Неслучайность последнего стихотворения Блока, посвященного Пушкину.) Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви.

*Тебя как первую любовь  
России сердце не забудет...*

Это – после Пушкина – вся Россия могла сказать только Блоку. Дело не в даре – и у Бальмонта дар, дело не в смерти – и Гумилев погиб, дело в воплощенной тоске – мечте – беде – не целого поколения (ужасающий пример Надсона), а целой пятой стихии – России. (Меньше или больше, чем мир?)

Линия Пушкин – Блок минует остров Бальмонта. И, со-

единяющее и заморскость, и океанскость, и райскость, и неприкрепленность Бальмонта: *плавучий остров!* – наконец, слово есть.

\* \* \*

Где же поэтическое родство Бальмонта? В мире. Брат тем, кого переводил и любил.

\* \* \*

Как сам Бальмонт – тоска Руси по заморью, так и наша любовь к нему – тоска той же по тому же.

\* \* \*

Неспособность ни Бальмонта, ни Брюсова на русскую песню. Для того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, чтобы народ вселился в поэта. Народная песня: не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного “я” с народным. (В современности, утверждаю, не Есенин, а Блок.) Для народной песни Бальмонт – слишком Бальмонт, пусть последним словом последнего слова – он нее обальмонтит!.. Неспособность не по недостатку органичности (сплошь органичен!) – по своеобразию этого организма,

О Брюсове же и русской песне... Если Бальмонт – слишком Бальмонт, то Брюсов – никак не народ.<sup>54</sup>

(Соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилева. Экзотика одного и экзотика другого. Наличие у Бальмонта и, за редкими исключениями, отсутствие у Гумилева темы “Россия”. Нерусскость Бальмонта и целиком русскость Гумилева.)

\* \* \*

Так и останется Бальмонт в русской поэзии – заморским гостем, подарившим, заговорившим, заворожившим ее – с налету – и так же канувшим.

\* \* \*

Бальмонт о Брюсове.

12-го русского июня 1920 г. уезжал из Б. Николо-Песковского пер<еулка> на грузовике за границу Бальмонт. Есть у меня об этом отъезде – отлете! – отдельная запись, ограничь двумя возгласами, предпоследним – имажинисту Кусикову: “С Брюсовым не дружите!” – и последним, с уже отъезжающего грузовика – мне:

---

<sup>54</sup> Язык Бальмонта, для русского, слишком личен (единоличен). Язык Брюсова, для русского, слишком общ (национально-безличен) (примеч. М. Цветаевой).

– А вы, Марина, передайте Валерию Брюсову, что я ему *не* кланяюсь!

\* \* \*

(Не-поклона – Брюсов сильно седел – не передала.)

\* \* \*

Запало еще одно словечко Бальмонта о Брюсове. Мы возвращались домой, уже не помню с чего, советского увеселения ли, мытарства ли. (С Бальмонтом мы, игрой случая, чаще делили тягости, нежели радости жизни, может быть, для того, чтобы превратить их в радость?)

Говорим о Брюсове, о его “летучих альманахах” (иначе: вечерах экспромтов). Об Институте брюсовской поэзии (иначе: закрытом распределителе ее), о всечасных выступлениях (с кем!) и вступлениях (к чему!) – я – да простит мне Бальмонт первое место, но этого требует ход фразы, я – о трагичности таких унижений, Бальмонт – о низости такой трагедии. Предпосылки не помню, но явственно звучит в моих ушах возглас:

– Поэтому я ему не прощаю!

– Ты потому ему не прощаешь, что принимаешь его за человека, а пойми, что он волк – бедный, лезущий, седеющий

ВОЛК.

– Волк не только жалок: он гнусен!

Нужно знать золотое сердце Бальмонта, чтобы оценить, в его устах, такой возглас.

\* \* \*

Бальмонт, узнав о выпуске Брюсовым полного собрания сочинений с примечаниями и библиографией:

– Брюсов вообразил, что он классик и что он помер.

Я – Бальмонту:

– Бальмонт, знаешь слово Койранского о Брюсове? “Брюсов образец преодоленной бездарности”.

Бальмонт, молниеносно:

– Непреодоленной!

\* \* \*

Заключение напрашивается.

Если Брюсов образец непреодоленной бездарности (то есть необретения в себе, никаким трудом, “рожденна, не сотворенна” – дара), то Бальмонт – пример непреодоленного дара.

Брюсов демона не вызвал.

Бальмонт с ним не совладал.

## V. Последние слова

Как Брюсов сразу умер, и привыкать не пришлось. Я не знаю, отчего умер Брюсов. И не странно, что и не попыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной, заглядывать – грубость. Посмертное насилие, дозволенное только репортерам.

Хочу думать, что без борения отошел. Завоеватели умирают тихо.

Знаю только, что смерть эта никого не удивила – не огорчила – не смягчила. Пословица “de mortuis aut bene aut nihil”<sup>55</sup> поверхностна, или люди, ее создавшие, не чета нам. Пословица “de mortuis aut bene aut nihil” создана Римом, а не Россией. У нас наоборот, раз умер – прав, раз умер – свят, обратно римскому предостережению – русское утверждение: “лежачего не бьют”. (А кто тише и ниже лежит – мертвого?) Бесчеловечность, с которой нами, русскими, там и здесь, встречена эта смерть, только доказательство нечеловечности этого человека.

\* \* \*

Не время и не место о Блоке, но: в лице Блока вся наша

---

<sup>55</sup> “О мертвых – либо хорошо, либо ничего” (лат.).

человечность оплакивала его, в лице Брюсова – оплакивать – и останавливаюсь, сраженная несоответствием собственного имени и глагола. Брюсова можно жалеть двумя жалостями: 1) как сломанный перворазрядный мозговой механизм (не его, о нем), 2) как волка. Жалостью-досадой и жалостью-растравой, то есть двумя составными чувствами, не дающими простого одного.

Этого простого одного: любви со всеми ее включаемыми, Брюсов не искал и не снискал.

Смерть Блока – громовой удар по сердцу; смерть Брюсова – тишина от внезапно остановившегося станка.

\* \* \*

Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших или перешедших – полу, Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюсова – именно в СССР.

Какой строй и какое мирозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воли, нежели мирозерцание, волю краеугольным камнем своим поставившее, и строй, не только бросивший – в гимне – лозунг:

“Владыкой мира станет труд”,

но как Бонапарт – орден героев чести, основавший – орден героев труда.

А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть к схе-



матизации, к механизации, к систематизации, к стабилизации, вспомнить – так задолго до большевизма – его утопию “Город будущего”. Его исконную религиозность, наконец. Нет, нет и нет. Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: любовное, Брюсову в СССР, как студенту на картине Репина – “какой простор!”. (Ширь – его устоям, теснотам его – простор.) Просто: своя своих познаша.

И не Маяковский, с его булыжными, явно-российскими громами, не Есенин, если не “последний певец деревни”, то – не последний ее певец, и уж, конечно, не Борис Пастернак, новатор, но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насильственной на Руси, бездушной коммунистической души, которой так страшился Блок. Все вышепоименованные выше (а может быть – шире, а может быть – глубже) коммунистической идеи. Брюсов один ей – бровь в бровь, ровь в ровь.

\* \* \*

(Говорю о коммунистической идее, не о большевизме. Большевиков у нас в поэзии достаточно, то же – не знаю их политических убеждений – Маяковский и Есенин. Большевизм и коммунизм. Здесь, более чем где-либо, нужно смотреть в корень (больш – сопт – ). Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого, быть может,

еще выйдет национал-Россия.)

И окажись Брюсов, как слух о том прошел, по посмертным бумагам своим не только не коммунистом, а распронархистом, монархизм и контрреволюционность его – бумажные. От контр, от революционера в революции – монархиста – в Брюсове не было ничего. Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему *власть*. (На какой-то точке бонапартизм с идеальным коммунизмом сходятся: “la carrière, ouverte aux talents”<sup>56</sup> – Наполеон.) “Брюсовский Институт” в царстве Смольных и Екатерининских – более чем гадателен. Коммунизм же, царство спецов, с его принципом использования всего и вся, его (Брюсовский Институт) оценил и осуществил.

Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта. Плебеистичность Брюсова и аристократичность Бальмонта (Брюсов, как Бонапарт – плебей, а не демократ). Царственность (островитянская) Бальмонта и цезаризм Брюсова.

Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, в первый час *stabilite*<sup>57</sup> ее, оказался *против*. Брюсов, тот же час спустя и по той же причине оказался – *за*.

Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга исключили.

Бальмонт – если не монархист, то по революционности

---

<sup>56</sup> “Карьера, открытая талантам” (фр.).

<sup>57</sup> Устойчивость (фр.).

природы.

Брюсов – если монархист, то по личной обойденности коммунистами.

Монархизм Брюсова – аракчеевские поселения. Монархизм Бальмонта – людвиго-вагнеровский дворец.

Бальмонт – ненависть к коммунизму, затем к коммунистам.

Брюсов – возможность ненависти к коммунистам, никогда – к коммунизму.

\* \* \*

Бюрократ-коммунист – Брюсов.

Революционер-монархист – Бальмонт.

\* \* \*

Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми.

\* \* \*

(Первая примета страсти к власти – охотное подчинение ей. Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве,

не бывают властолюбцами. Марат, Сен-Жюст, по горло в крови, от корысти чисты. Пусть личные страсти, дело их – надличное. Только в чистоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп и ум единиц. “Во имя мое”, несмотря на все чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как “во имя твое”, несмотря на всю жертвенность служения идее власти, не скажет Бонапарт. Сражающая сила “во имя твое”.

У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя с высоты какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердечия восклицает: “Et dire qu’il ne faudrait que deux compagnies pour balayer toute cette canaille-la”<sup>58, 59</sup>

Орудие властолюбца – правильная война. Революция лишь как крайнее и *не* этически-отвратительное средство. Посему, властолюбцы менее страшны государству, нежели мечтатели. Только суметь использовать. В крайнем же случае – властолюбия нечеловеческого, бонапартовского – новая власть. Идея государственности в руках властолюбца – в хороших руках.

Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на какие по-смертные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже имеющихся святых.)

---

<sup>58</sup> “Подумать только, что понадобилось бы всего два батальона, чтобы вымести всю эту нечисть” (фр.).

<sup>59</sup> NB. Отвращение к революции в нем, в этот миг, равно только отвращению к королю, так потерявшему голову (примеч. М. Цветаевой).



Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже *соответствие* с советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не о безродности, русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет и следа<sup>60</sup>. Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство – чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае – “эмоциями”). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не только странам: землям: планетам. И не только планетам: муравейнику – улью – инфузорному кишению в капле воды.

*Люблю свой острый мозг и блеск своих очей,  
Стук сердца своего и кровь своих артерий.  
Люблю себя и мир. Хочу природе всей  
И человечеству отдаться в полной мере.*<sup>61</sup>

(Какое прохладное люблю и какое прохладное хочу. Хотения и любви ровно на четыре хорошо срифмованные строки. Отдаться – не брюсовский глагол. Если бы вместо отдаться

---

<sup>60</sup> Безрадостность, безысходность, безраздельность, безмерность, бескрайность, бессрочность, безвозвратность, безглядность – вся Россия в без (примеч. М. Цветаевой).

<sup>61</sup> Все цитаты по памяти. Но если и есть обмолвки, словарь их – брюсовский (примеч. М. Цветаевой).

– домочья – о, по-иному бы звучало! Брюсов не так хотел – когда хотел!)

Но микроскоп или телескоп, инфузорное кишение или кипящая мирами вселенная – все тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд. Микроскоп или телескоп, – простого человеческого (простым глазом) взгляда у Брюсова не было:

Брюсову не дан был.

\* \* \*

В подтверждение же моих слов об анациональности отношению читателя к раннему его – и тем хуже, что раннему! – стихотворению “Москва”, в памяти не уцелевшему. (“Москва”, сборник, составленный М. Коваленским, издание “Универсальной библиотеки”, последняя страница. Может быть, имеется в “Юношеских стихах”. Дата написания 1899 г.)

\* \* \*

Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался – творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, чем – хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая, му-

зыка), на нем будут учиться хотеть – чего? – без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего – писать стихи.

Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел “Лирика” – в отдел, и такой в советских хрестоматиях будет: “Воля”. В этом отделе (пролагателей, преодолевателей, превозмогателей) имя ею, среди русских имен, хочу верить, встанет одним из первых.

И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, не встанет – в граните ё1в нечеловеческий рост – изваяние:

**ГЕРОЮ ТРУДА  
С.С.С.Р.**

*Прага. август 1925*